МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН

По пути в бессмертие

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Краткие заметки о взаимоотношениях и разговорах Андрея Платоновича Платонова с отчимом автора, писателем Яковом Семеновичем Рыкачевым.

- Юрий Нагибин
  -

Юрий Нагибин
Ими распорядился тридцать седьмой год

Пушкин сказал, что любая мелочь, касающаяся великого человека, интересна и важна. Я не помню его формулировки, но мысль передаю верно. С этой точки зрения имеют смысл и мои крайне скудные заметки о взаимоотношениях и разговорах Андрея Платоновича Платонова с моим отчимом, писателем Яковом Семеновичем Рыкачевым. Думаю, что в предвоенные годы, во время войны и вплоть до смертельного заболевания у Платонова не было ближе людей в литературном мире, чем В. Гроссман, Р. Фраерман, Л. Гумилевский и Я. Рыкачев. Василий Семенович Гроссман вносил в свои отношения с Платоновым легкий, но утомляющий того дух соперничества (этот самолюбивый счет продолжался и после смерти автора «Чевенгура», похоже, Гроссман всерьез считал, что может тягаться с Платоновым), отношения с милейшим человеком Р. Фраерманом чуть осложнились после совместного написания пьесы «Волшебное существо», где Андрей Платонович начисто подавил своего соавтора, а отношения с Гумилевским и Рыкачевым были свободны от каких-либо привходящих обстоятельств.

Несколько слов о Я. Рыкачеве, ибо Платонов в рекомендациях не нуждается. Варлам Шаламов писал в своих воспоминаниях: «Сегодняшняя молодежь вовсе не знает имени Якова Рыкачева. А ведь он еще жив. Рыкачев был умным и тонким писателем, автором романа „Возвращение и падение Андрея Полозова“ (точное название — „Величие и падение Андрея Полозова“, 1931) и очень интересного очерка „Похороны“».

Я. Рыкачев был мастером психологического анализа. Его трудноопределимые по жанру произведения, составившие книгу «Сложный ход», были заметным явлением в литературе тридцатых годов. Тогда о Рыкачеве было написано больше, нежели он сам написал. Трудно сказать, чего бы он достиг, но им распорядился тридцать седьмой год. Пусть он отделается легко по сравнению с другими, что-то в нем сломалось. Он еще писал острые критические статьи, выпустил хороший сборник исторических повестей «Великое посольство», но сферой его была не беллетристика, даже не критика, а интеллектуальная проза. К сожалению, разум в литературе находил все меньше и меньше

спроса. Но и сейчас встречаются люди, которые помнят его «непохожую» прозу.

Андрею Платонову эта столь далекая от его манеры литература была интересна, он был человеком в высшей степени «умственным».

Прежде чем говорить, о чем они беседовали, надо сказать, о чем они молчали: о политике, если обозначить этим изящным словом непродышливый кошмар нашей жизни. Это был молчаливый уговор всех порядочных людей, если их не связывала та исключительная степень доверия, которая проистекает из близкого родства, неразделимой общности судеб. Люди не хотели ставить друг друга в положение взаимной зависимости. А может полностью доверять Б. Но ведь и Б. наверняка имеет В., которому столь же безгранично доверяет. Тот, в свою очередь, исполнен доверия к В., а может, и к Г., и к Д. А у тех есть свои доверенные лица. И где-то в этой цепи вдруг окажется слабое звено. Не обязательно подлец, стукач, но и человек, которому сильно не повезло. И он расколется. Лента начинает раскручиваться назад, и ты с ужасом думаешь: неужели кристально честный А., которому ты доверял, как брату, ссучился?.. Тот, в свою очередь, думает это о тебе и о других невинных людях. Порой истина обнаруживалась, но вовсе не обязательно, а главное, от этого не становилось легче. Чтобы не было осадка страха от слишком доверительных и совершенно пустопорожних разговоров (всем и так все было ясно), люди легко и спокойно обходили запретные темы.

Строго говоря, все темы были запретны, если не обмениваться праздничными лозунгами, расхожей мудростью газетных передовиц, цитатами из трудов и выступлений недоучки-семинариста. Но на риск внеполитического разговора люди все же шли, чтобы не превратиться в мычащих скотов.

Вот темы частных разговоров Платонова и Рыкачева, свидетелем которых мне довелось быть: Фрейд и фрейдизм, Шпенглер и его нашумевший труд «Закат Европы», несчастный Вейнингер, убедивший самого себя исследованием «Пол и характер», что еврей не может быть гениален, и покончивший самоубийством; что такое «культура» и что такое «искусство». В каком-то смысле эти темы тоже находились под негласным запретом, ибо что тут обсуждать: Фрейд, Шпенглер и Вейнингер — буржуазные мракобесы, выродки и подонки, понятиям же «культура» и «искусство» даны исчерпывающие марксистские определения.

К сожалению, я не могу передать содержание этих разговоров, доходивших до меня фрагментарно. Могу

свидетельствовать лишь о глубоком и в высшей мере сочувственном интересе А. Платонова к учению Фрейда, что легко вычитывается в «Чевенгуре», хотя имя венского ученого там, разумеется, не упомянуто. В отличие от Рыкачева он считал, что адлеровский примат самоутверждения (вместо фрейдовского секса) не противостоит фрейдизму, а дополняет его. Отчим не исповедовал «древнее» фрейдовское благочестие.

«Закат Европы» восхищал Платонова литературно, но по существу вызывал яростное противоборство. Он не верил в исчерпанность европейской цивилизации и вообще отвергал замкнутую в себе цикличность культурного процесса. По поводу Вейнингера помню я его фразу: «Бедный, бедный мальчик!», произносимую так тепло и сочувственно, будто юный и запутавшийся Вейнингер плакал в соседней комнате. Вообще я ни у кого не встречал такого интимного, кожей, ощущения культуры, как у Андрея Платонова.

Зато я очень хорошо помню другой разговор между Платоновым и Рыкачевым. Перед этим Андрей Платонович дал ему прочесть «Котлован», разумеется, в рукописи. Отчим спросил, почему так настойчиво обыгрывается, что ноги обрубка Жачева остались «в капитализме»?

— А где же? — фыркнул Платонов. — Так оно и выходит.

— Но звучит смешно и потому жестоко в отношении калеки.

Да при чем тут калека? — удивился Платонов. — Это Россию все разорвать хотят: низ в капитализме, верх в социализме. Глупость какая. Все ее — при ней, Россия цельная, а капитализм, социализм… — И он махнул рукой.

Так вот в чем дело! У Платонова было замечательное умение высмеивать глупость мнимо незыблемых официальных истин. В одной из его лишь недавно опубликованных пьес (Платонов А. «Шарманка». — «Театр», 1988. № 1, с. 3–28) появляется датский капиталист Стерветсен, который приехал в Советский Союз, чтобы выторговать у нас надстройку — уж больно хороша она тут! В Дании базис что надо, а вот с надстройкой туго, и поэтому Стерветсен готов заплатить за нее кругленькую сумму. Он покупает надстройку, этот философский эфемер, как покупают флигель дома, дрова, скотину… В «Котловане» ложь двубытности России, полной разорванности настоящего и прошлого, беспощадно обнажена в жутком образе физического разделения туловища калеки между капитализмом и социализмом.

Вспоминается одна маленькая литературная история, в которой отчетливо проявился характер Андрея Платонова.

Это было перед войной. Лев Иванович Гумилевский, перешедший от беллетристики к научно-популярной литературе,

решил проверить: может ли он еще писать рассказы. Существует как бы два Гумилевских: один — автор нашумевшего «Собачьего переулка» и прочих произведений, трактующих моральную тему в духе «без черемухи», другой — автор великолепных книг о творцах техники — Рудольфе Дизеле, Лавале — изобретателе паровой турбины, Крылове и др. Этим же вторым Гумилевским разработана интересная филологическая теория о разрушении стереотипов как основе художественного творчества. Человечески любя Гумилевского и чтя его книги об инженерах, Андрей Платонович помалкивал о тех, что «без черемухи», будто их не было в помине.

Гумилевский устроил у себя на квартире — мы жили в одном писательском доме по улице Фурманова, ныне снесенном, — чтение своего нового рассказа, написанного после многолетней разлуки с изящной словесностью. Уже напечатавшийся в то время, я был удостоен чести быть приглашенным на этот вечер. Благодарный Льву Ивановичу, я страстно желал ему успеха. Желания мои не сбылись: рассказ оказался неимоверно длинен, скучен, как-то посторонен всякой жизни; непонятен был стимул, заставивший автора взяться за перо. Теперь-то я понимаю: Лев Иванович сменил манеру — от пролетарского импрессионизма своих ранних книжек (тех, что «без черемухи») он перешел к правоверному обстоятельному реализму, думая на этом пути вновь обрести лицо беллетриста.

Рассказ никому не понравился. Как и обычно, закоперщиком разноса стал Рыкачев. Делал он это мастерски. Остальные выступавшие «присоединялись к предыдущему оратору». Платонов молчал, пил мелкими глоточками красное цинандали и морщил высокое чело.

— А как вам, Андрей Платонович? — обратился к нему Гумилевский.

Платонов еще сильнее изморщил лоб, казалось, он решает непосильную умственную задачу.

— Это… конечно… рассказ, — сказал он и припал к бокалу.

— Для меня это очень важно, — наклонил крупную голову Гумилевский. — Значит, новеллистической формой я, во всяком случае, владею.

— Да… это… рассказ, — совсем изнемогая от умственной работы, повторил Платонов и потянулся за бутылкой.

Поняв, что большего от него не добьешься, Гумилевский спросил о моем мнении.

Я пролепетал, что мне понравилось, как умирает старый пароход. На фоне этой смерти происходит действие рассказа.

— Похоже, что молодой человек внимательнее слушал мой

рассказ, чем старшие коллеги, — довольно похохатывая, сказал Гумилевский.

Его укор задел отчима — последовал новый критический залп. Рыкачев пытался апеллировать к Платонову, но тот углубленно смаковал вино и даже не расслышал обращенных к нему слов.

От Гумилевского мы пошли к нам. Отчим вспомнил, что в графинчике оставалось немного водки. Измученный кислым вином, Андрей Платонович как-то особенно бережно и душевно перелил в себя две рюмки. После чего отчим с настырностью максималиста привязался к нему, почему он скрыл от Гумилевского свое мнение о рассказе. Андрей Платонович отмалчивался, отсмеивался, отфыркивался, но под конец не выдержал и сказал жалобно:

— Да что вы привязались? Пусть пишет рассказы. Это лучше, чем хулиганить в подворотне.

Это было так неожиданно и так неприменимо к пожилому, монументальному, словно конная статуя, глубоко серьезному Гумилевскому — он происходил из семьи потомственных священников и сочетал высочайшую порядочность с той неторопливой степенностью, с какой ведут службу, — что мы покатились от хохота. Платоновское выражение навсегда вошло в наш семейный обиход и нередко способствовало примирению с чем-то не очень приятным: все-таки это лучше, чем хулиганить в подворотне.

А я для себя сделал еще один вывод: другу можно простить и плохой рассказ.

Еще об одной черте в отношениях Платонова и Рыкачева стоит рассказать. Как-то раз — уже после войны — мы сидели семейно за маленьким круглым столиком в маминой комнате и отмечали мой день рождения. Гостей не было, уж больно скудно мы тогда жили. Все, что я зарабатывал, шло отцу, отпущенному из лагеря на поселение с голодной пеллагрой и дистрофией, отчим болел тромбофлебитом, работал и зарабатывал мало, в ломбард уже нечего было нести, лучшим украшением нашего стола был омлет из яичного порошка, но водка и под него шла хорошо. В разгар пиршества раздался стук в дверь, сильно нас смутивший. Не хотелось постороннего вторжения. Отчим пошел отвадить непрошеного гостя. И вдруг мы услышали его обрадованный голос: зашельцем оказался Андрей Платонович, который нередко забредал к нам без предупреждения.

Узнав, по какому поводу мы гуляем, Платонов тепло поздравил меня, поцеловал маме руку, вдруг порывисто повернулся к Рыкачеву, крепко обнял его и прижался виском к

виску. Когда Платонов отстранился, у него были мокрые глаза.

— Как странно, — говорил моей матери после ухода Платонова отчим, — что он на меня, а не на тебя обратил свое чувство. Ведь я имею довольно косвенное отношение к рождению этого дитяти.

— Господи, до чего ты глуп! — сказала мама. — Да в нем отцовское заболело. Что ему я? Он думал о Тошке и о себе, о счастье быть с сыном. Это был жест отца к отцу. Я только сейчас поняла, в каком аду он живет.

Сын Платонова, красивый и одаренный Тошка, был арестован по статье 58. Когда брали политического преступника, у него не было даже временного паспорта — бумажки, которую давали допризывникам, он был вписан в паспорт матери. В 1942 году его отпустили со смертельной болезнью легких. Он успел написать несколько талантливых рассказов, жениться и заразить отца скоротечной формой чахотки.